



Исследования



Музыканты называют валторну проституткой, потому что из всех духовых инструментов валторна самая трудная: у неё самый узкий мундштук, и извлечь из неё звук под силу только здоровому, крепкому человеку, да и то — «хочет даст, а хочет не даст» звука. И обратно: лёгкомысленную женщину музыкант называет валторной.



Исследования

О моральных проблемах издания эго-документов из архива Р. Г. Назирова*

Сергей С. Шаулов

Башкирский государственный университет

Ромэн Гафанович Назиров хорошо известен среди исследователей Достоевского. В других сферах (а он ещё работал на материале Чехова, писал о русском и мировом фольклоре) он известен меньше, но и там его имя тоже периодически звучит. От него остался огромный (в буквальном смысле слова — более 600 архивных дел) архив. Некоторая часть архива — это эго-документы. В первую очередь, это дневники с 1950 по 1971 год. Во-вторых, это эпистолярный. Юридически права на архив принадлежат наследникам, сыновьям Ромэна Гафановича, Эдуарду и Станиславу. Они передали нам право публикации (разумеется, по согласованию — когда дело касается личных документов). Когда я говорю «нам», я имею в виду себя и моего коллегу и соратника по этому делу Бориса Валерьевича Орехова (НИУ ВШЭ).

Дневники Назирова представляют собой довольно интересный объект. Их много, это несколько десятков тетрадей, уписанных мелким, хотя и разборчивым почерком (в этом смысле Назиров чрезвычайно удобен для публикации). Эти дневники разнородны по «жанровому» составу.

Во-первых, есть собственно дневники, то есть тетради, куда он записывал события своей жизни, оценки, ощущения, описывал свое окружение, строил планы, сокрушался о неудачах и т.д.

Во-вторых, многие тетради представляют собой своеобразный дневник-хронику, куда он иногда буквально переписывал газетные статьи, слухи и т.д. за определённый день. Порой эти подборки почти лишены каких-либо личных записей и провоцируют некий рецептивный парадокс: личный дневник оказывается вдруг практически безличным. Особенно этот парадокс усиливается в тех случаях, когда два этих «жанра» назировских дневников содержатся в одной тетради (подобное встречается не редко), переходя один в другой.

В-третьих, в архиве есть ещё и рабочие дневники, где он фиксировал свои идеи, цитаты из научной литературы и так далее. Такой дневник у него часто переходит в читательский

*Материал сделан на основе моего выступления на круглом столе «Этично ли издавать дневники и письма? Это личное дело владельца архива, издателя, комментатора, или же эго-документы следует хоронить вместе с автором?» (МГУ, 29 мая 2018). Сохранив стиль относительно свободного разговора я позволил себе несколько «почистить» и местами дополнить свою короткую реплику. — Прим. автора.

конспект. Наиболее выразительный пример этой разновидности дневников — дневник чтения «Евгения Онегина», фиксирующий поставленный Назировым опыт «медленного чтения» классического текста. Характерно, что в какой-то момент он забывает ставить даты, дневник переходит в линейно-структурированное размышление, но затем Назиров «спохватывается» и возвращается к исходной форме подневных записей.

Сразу скажу, что с этими дневниками моральных проблем обычно не возникает. Даже когда Назиров пишет о каких-то своих юношеских любовных делах, он весьма целомудрен. То есть имён он не зашифровывает, но там нет ничего такого, что бросало бы тень на кого-либо. Он либо вовремя останавливается, либо находит некий удобочитаемый стиль.

Вообще его ранние юношеские тетради, написанные в 17–18 лет (начало 1950-х годов), иногда создают впечатление, что был некий сторонний читатель этих дневников. Возможно, это была его мать, которая до конца своей жизни (1971) была, судя опять же по дневникам, и первым читателем, и первым критиком всех других его работ.

Кроме того, у Назирова есть ещё две разновидности дневниковых записей. Это, во-первых, выделенные в отдельные тетрадки литературизированные подневные хроники важных периодов его жизни, находящиеся на грани между эго-документом и собственно литературным дневником. В таких тетрадях он редактирует записи о событиях собственной жизни, очевидно, переписывая их с каких-то более ранних «черновых» записей, и создаёт относительно связное повествование в дневниковой форме. Таких дневников два: «Ленинградская тетрадь» (лето 1952, когда он не был принят ни в один ленинградский вуз как сын «врага народа») и «Сельский учитель (Бишкаинский дневник)» (после окончания Башкирского университета Назиров некоторое время работал учителем словесником в школе села Бишкаин).

И, наконец, есть еще весьма интересные «дневники по случаю» или «дневники одного события». Остановлюсь на одном примере. В архиве Ромэна Гафановича есть дневник юбилейной конференции по Достоевскому, прошедшей в 1971 году. Фактически это был первый в Советском Союзе официально проведенный юбилей писателя. Конференция проходила в Ленинграде, собрала весь тогдашний гуманитарный бомонд.

В дневнике много бытовых подробностей, которые не всегда находятся в плоскости приличного литературного быта. Например, некий литературовед (не буду называть имени) «зашёл ко мне после заседания вместе с коньяком, это была страшная ошибка», — пишет Назиров. Это ещё безобидные вещи. Более интересное: одна коллега, в ту пору ещё очень молодая исследовательница Достоевского, ныне живая и хорошо известная (по крайней мере, в среде достоевсковедов), сразу после конференции пишет ему письмо, где делает несколько научных комплиментов, перечисляет его «душевные недостатки», пишет о своем психологическом состоянии и т.п. Можно сказать, что это личное письмо «под маской» научного. Содержательно оно, впрочем, не выходит за рамки легкого кокетства. В конце автор, однако, пишет: «письмо порвите». Назиров это письмо дословно переписывает в свой

дневник конференции, видимо, считая это одним из ее итогов, указывает автора и дальше делает помету: «Письмо я порвал».

Тут видна некая ирония и по отношению к требованию отправителя письма, и по отношению к жанру дневника. Как поступать с этим письмом при публикации? Не совсем понятно. Видимо, этот дневник будет опубликован под названием «Фрагменты из...»

Казусы, требующие сложных согласований с еще живыми участниками событий, их наследниками и другими заинтересованными лицами, в таких, «профессиональных» дневниках (их еще несколько) возникают довольно часто. Конечно, согласования многократно утяжеляют публикацию, не всегда они осуществимы на практике, но как некий идеал, к которому нужно стремиться, они, разумеется, должны влиять на издание подобных текстов.

Тем не менее, дневники Назирова продуцируют меньше моральных проблем, нежели его эпистолярный.

Небольшое отступление. Архив Назирова помимо объёма интересен тем, что структурирован самим автором. Видимо, Назиров несколько лет до смерти этот архив прореживал, компоновал и т.д. Мы были свидетелями малой части этого процесса летом 2003 года (в феврале 2004 он умер). Он готовился к операции, неудачные последствия которой и были причиной его смерти. И, видимо, чистил архив. На наших глазах он, например, перебирал письма и разорвал открытку от Г. М. Фридлендера (создатель и руководитель группы Достоевского в Пушкинском доме): прочитав её и оставшись, видимо, недовольным ее содержанием, он порвал её в мелкие клочки и бросил в мусорный пакет. Все это означает, что те это-документы, которые мы сейчас имеем в архиве, оставлены автором вполне сознательно.

При этом переписка с Фридлендером — самая большая часть дошедшего до нас эпистолярного фонда: это около ста писем Фридлендера и сравнимое количество ответных (мы получили из Пушкинского дома цифровые копии этих ответных писем и, похоже, сумели восстановить бо́льшую часть этой долгой и интересной переписки).

В этой переписке есть весьма своеобразные документы, сохраненные Назировым в своем архиве. Это «черновики» писем (он их сам так называет), которые, однако, представляют собой не черновой текст, а своего рода «идеальную» (с точки зрения Назирова) альтернативу посланным реальным письмам. Он их писал так, как он, может быть, хотел это делать, если бы его ничего не сдерживало. Там встречаются пометки такого характера: «Черновик. Переписано в совершенно другом ключе, отправлено тогда-то». Черновики писем свободнее, он не стесняется в них философствовать и давать резкие оценки актуальной в тот момент науке, конкретным ученым и т.д.

Публикация этих писем задевает некоторое количество существующих научных репутаций и живых, и недавно умерших людей. В связи с этим возникает ряд проблем.

Честно говоря, на начальном этапе знакомства с этих эпистолярием я был склонен некоторые фамилии заменять инициалами. Но эти инициалы были бы прозрачны, потому что речь идёт о конкретных людях, которые писали вполне конкретные статьи, книги,

участвовали в хорошо известных конференциях и т.д. Расшифровка этих инициалов не составила бы труда.

Последнее решение, к которому мы пришли, состоит в том, чтобы публиковать всё полностью, по возможности согласовывая с ныне живыми участниками событий, и в других случаях сопровождать публикацию сухими историко-биографическими комментариями. Наверное, вокруг текста этих комментариев потом будет некий спор, посмотрим, как он будет решаться, когда начнется настоящая подготовка этого эпистолярия к изданию.

Тем не менее, мне кажется, что это до некоторой степени справедливое решение.

Но я хотел бы ещё обратить внимание на возникающие в связи с этим рецептивные проблемы. Выше было сказано, что публикация эго-документов может затрагивать ряд существующих научных репутаций. Но первая репутация, которая подвергается очень мощному воздействию — репутация самого Назирова. Речь, разумеется, не только об эго-документах, но вообще о публикации архивных материалов, в том числе и чисто научных. Публикуемые документы нарушают сложившийся биографический исторический образ автора. Региональное научное сообщество, в котором Назиров существовал, в силу определенных социокультурных условий, весьма герметично и не склонно к резким изменениям. Положение Назирова в нем казалось несколько «изолированным» (по крайней мере, на взгляд его учеников последней генерации, к которой принадлежим и мы с Б. В. Ореховым). Открытие и публикация архива резко нарушили тот образ, который сложился в региональном научном сообществе. Вдруг оказалось, что «рядовой профессор» (во всяком случае есть люди, от которых нам приходилось слышать такое определение) сделал что-то такое, чего никто в этой местности ранее не делал, а в письмах и дневниках он еще и оценки раздаёт всем коллегам... Реакция может быть пассивной (замалчивание; преобладающая пока форма регионального «ответа» на всю нашу активность), а в ряде случаев — агрессивно-отрицательной. Все это осложняет и делает значительно менее комфортными условия, в которых приходится готовить архивные тексты к публикации.

С другой стороны, есть и обратный рецептивный эффект, хорошо заметный уже не в провинции, а на столичных научных «площадках». Когда я приезжаю, скажем, в Москву и говорю не о своих научных темах, а о Назирове, может возникнуть впечатление, что существует некий региональный «культ великого учителя», тогда как дело обстоит ровно наоборот. Может также возникнуть искушение «развенчать идола» и т.д. Публикация некоторых эго-документов вполне может стимулировать подобное отторжение и отрицательно сказаться на читательской и издательской судьбе других материалов из личного архива. Это проблема также имеет этическую природу, и решение ее, мягко говоря, не очевидно.

